

Дом с колоннами

Т. Гаген

В апреле 1919-го из России уезжала большая семья. Грузовой пароход «Надежда» увозил в эмиграцию мужчину и женщину средних лет и пятерых их детей. Старшему исполнилось двадцать лет.

Этот молодой человек, гордившийся своей принадлежностью к одному из самых богатых дворянских родов России, эстет, англоман и, по мнению сверстников, «чудовищный сноб», очень скоро заставит говорить о себе литературные эмигрантские круги, заслужит сдержанную похвалу самого Бунина, в зрелом возрасте напишет шумный, скандальный и, кажется, до сих пор не разгаданный роман «Лолита», со снисхождением будет принимать репортеров, узнает почет и мирскую славу, с легкостью станет менять города и страны, но до конца своих дней так и не обретет дома.

Он поселится в шикарном швейцарском отеле, где будут с готовностью выполнять любые прихоти знаменитого постояльца. И ни один интервьюер так и не получит вразумительного ответа на вопрос: «Почему при своих умопомрачительных доходах господин Набоков не покинет отель и не купит в частное владение дом?»

Эту загадку Владимир Владимирович Набоков унесет с собой. А ключи к сокровеннейшей из своих тайн он спрячет в книгах: стихах, «русском» цикле романов, повести-воспоминании «Другие берега». Для внимательного читателя «Машеньки», «Защиты Лужина», «Подвига», «Дара» тайна эта прозрачна и очевидна: имение писателя под Петербургом («наша Выра», как он привык называть его с детства) и дом в этом имении — только один оставался для Набокова тем единственным Домом, вблизи и внутри которого он мог вообразить свое существование. Все другое на земле могло быть лишь временным пристанищем.

Описывая свою жизнь в России, Набоков внутренне преображался, его авторский голос становился доверительным, а перо легким, и эти страницы его романов невозможно читать без волнения: «Как бы то ни было, но я убежден ныне, что тогда ваша жизнь была действительно проникнута каким-то волшеб-

ством, неизвестным в других семьях. От бесед с отцом, от мечтаний в его отсутствие, от соседства тысяч книг... от всей этой геральдики природы и кабалистики латинских имен жизнь обретала такую кодовскую легкость, что казалось — вот сейчас тронусь в путь. Оттуда я и теперь занимаю крылья».

Долгие годы он не получал вестей из России, не знал, что случилось с имением — уцелело? Погибло? — и в эти минуты его посещало горькое прозрение: «Дом сожжен и вырублены рощи, где моя туманилась весна». А порой он лелеял неисполнимую, обманчивую мечту о том времени, когда Россия вдрут «страхнет дурной сон, полосатый шлагбаум поднимется, и все вернуться, займут свои прежние места — и Боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля».

Это имение на реке Оредеж и сама река с ее «ленивым изгибом», и родной, как «собственное кровообращение», путь из «нашей Выры» в село Рождествено, и издавна знакомая «береза-лира» с двойным стволом, рай детства, первая юношеская влюбленность — все слилось для него в понятие Россия, Родина, Дом.

Возвратиться в Россию было так же невозможно, как вернуть счастье детства, ибо Набоков знал, сколь пророческими могут оказаться для него его же собственные строки: «Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать; и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать». Но память упорно вызывала новые видения, и писатель, сам себе противореча, договаривал: «Но сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела и весь в чермухе овраг».

Случайно или нет, но эти строки вызывают ассоциации с трагической судьбой Николая Гумилева, казненного в двадцатых числа августа 1921 года. В числе других приговоренных его заставили вырыть себе яму, столкнули в нее и расстреляли. Его, как писал В. Ходасевич, «убили ради наслаждения убийством вообще», «ради удовольствия убить поэта».

Возврата не было, и все же неотвяз-

ный образ России вновь и вновь диктовал Набокову ностальгические строки. «Как Бодлер в своем бельгийском аду, как Данте в Равенне» (слова Нины Берберовой), он помнил только одно и терзался только одним. Он придумывал себе бесстрастного чиновника, равнодушного, медленного приказчика, который «выдаст на родину билет». И обращаясь к Всевышнему, умолял: «Господи, я требую примет: кто увидит родину, кто — нет, кто уснет в земле нерусской». И до конца жизни «выговаривал себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России».

С годами он приучился прятать свою боль за холодной надменностью получившего признание писателя. С репортерами держался заносчиво, был сух и капризен, газеты спешили обнародовать его высказывания о том, что «национальная принадлежность стоящего писателя — дело второстепенное... Искусство писателя — вот его подлинный паспорт». Однажды он назвал себя «американским писателем, который когда-то был русским». Но каким же незащищенным предстает он в своей сокровенной мечте:

«Быть может, когда-нибудь, на зарубежных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением... я еще выйду с той станции, и без видимых спутников, пешком, пройду стужкой вдоль шоссе с десятков верст до Лешина. Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении... Погода будет, вероятно, серенькая. Изменения в облике окрестности, которые я не могу представить себе, и малейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда. Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стона в тон столбам. Когда дойду до тех мест, где я вырос и увижу то-то и то-то — или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого, но все-таки кое-что бесконечно и непоколебимо верное мне, разгляжу — хотя бы потому, что глаза у меня сделаны из того же, что тамошняя сырость, то после всех волнений, я испытую какую-то удовлетворенность страдания... Но одного я наверняка не застаю — того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания: детства моего и плодов этого детства. Его плоды — вот они, — сегодня, здесь, — уже созревшие; оно же само ушло в даль, почище севернорусской».

В эмигрантской литературе русского зарубежья нет признания более искреннего по чувству и выразительности, по письму, где горечь чужбины и жажда

обретения покинутого Отечества высказалась бы столь обостренно трагически.

В сущности, именно эта потеря Рая, Дома, Родины и неотвязная мечта об утраченном и создала Набокова-писателя. «Он как Феникс родился из огня и пепла революции и изгнания. С его появлением целое поколение русской эмиграции было оправдано». Трудно не согласиться с этим замечанием Нины Берберовой, не случайно назвавшей Набокова «королем, лишенным своего королевства».

Так что же кинул в краю родном этот странный писатель с русской фамилией, с чем навсегда простился, когда смотрел на удаляющийся берег своей страны с палубы грузового парохода? Что надеялся обрести вновь, из романа в роман заставляя своего лирического героя — свое второе «я» — проходить несметное число раз одним и тем же маршрутом к Дому? Той дорогой, которую он знал «на ощупь и на глаз, как знаешь живое тело». Да и где она, эта заповедная земля, этот «старый, в елочном стиле деревянный дом, выкрашенный в бледно-зеленый цвет, большой, крепкий и необыкновенно

На ступенях
заглохшего
дома



выразительный, с балконами на уровне липовых веток и верандами, украшенными драгоценными стеклами»; эта река, «искрящаяся промеж парчовой тины»; мост, «вдруг разговорившийся под копытами» лошадей; парк, «там омраченный хвоей елей, тут озаренный листвою берез, громадный, густой и многодорожный»...

Что с ним стало?

Набоковым принадлежало в общей сложности три имения в округе. Первое — «наша Выра» — было дано в приданое Елене Ивановне Рукавишниковой, матери Владимира Набокова. Семья писателя владела домом до революции; в двадцатых годах был организован зооветеринарный техникум, в конце тридцатых поселились дети испанских республиканцев, а в 1942-м стоял штаб Паулюса. В 1944 году при отступлении немецких войск усадебный дом погиб от пожара. До наших дней дошли лишь несколько хозяйственных построек да чудом сохранившаяся насыпная горка «Парнас» над крутым берегом Оредежа. Некогда принадлежавший декабристу Рылееву дом в Батове дед писателя по отцу купил в 1857 году. При советской власти здесь учредили народный дом. А в 1925 году дом с флигелями погиб от ночного пожара из-за брошенной на спички.

И вот, наконец, Рождествено. «Дом с колоннами», как издавна называют его в округе, — единственная память у нас о Набокове. Незадолго до революции его

владелец — родной дядя писателя — объявил любимого племянника хозяином усадьбы по достижении им совершеннолетнего возраста.

Однако каждый, кто хочет узнать историю дома, должен набраться терпения и выслушать долгий рассказ: дому как-никак почти двести лет.

Старинная Новгородская окладная книга 1498 года свидетельствует, что на месте рукавишниковского имения и парка стоял православный храм, который был центром Никольско-Грезневского погоста. Погост тянулся вдоль тракта, ведущего из Новгорода в северную крепость Корелу. В начале XX века по этой древней русской дороге было проложено шоссе.

Из тех, уже поросших былями-небылями времен дошло до наших дней старое предание. Рассказывают: в начале XVI века, когда шведы захватили здешние земли, Никольская церковь с куполами, звонницей и всем, что в ней тогда было, ушла под землю. Сколько в этой легенде правды — судить трудно, да только работающие на территории нынешнего совхоза агрономы и сейчас удивляются подвижности карстовых пород и зыбкости местного песчаника, а здешние школьники по сей день приносят в местный краеведческий музей старые монеты, обломки расписной керамики и металлические колечки, которые невесть из каких глубин вымывает река.

За два века небольшие хутора, состав-

Выра.
Усадебная
церковь





Выра.
Главный дом

лявшие погост, разрослись и к началу XVIII века слились в Большую Грезную деревню. Эти земли, отбитые у шведов в Северной войне, Петр I отдал во владение своему сыну Алексею, который выстроил на берегу Оредежа деревянный дворец и церковь во имя Рождества Богородицы. С этой церкви и ведет село свое нынешнее название.

Столетие спустя, живший неподалеку в Батово Кондратий Рылеев, размышляя над темным и загадочным прошлым этих мест, начал (и оставил недописанной) поэтическую драму «Царевич Алексей в Рождествене»:

Страшно воет лес дремучий,
Ветр в ущелиях свистит,
И украдкой из-за тучи
Месяц в Оредеж глядит.

Там — разбросаны жилища
Утесненной нищеты,
Здесь — стоят средь красоты
Деревенского кладбища
Деревянные кресты.
Между гор, как под навесом,

Волны светлые бегут
И вослед себе ведут
Берега, поросши лесом...

Судьба царевича сложилась трагично, и после его смерти имение перешло в казну. Минуло еще полвека. В 1780 году указом Екатерины II Рождествено было объявлено уездным городом. В селе возвели храм во имя Вознесения Господня, построили присутственные места и гостинный двор. Но в ранге города Рождествено просуществовало недолго. С воцарением Павла I статус города был передан Гатчине. Туда же переместились присутственные места, переехали многие купцы и мещане. А Рождествено вновь стало селом.

В 1825 году на месте обветшавшего деревянного дворца Алексея появилось великолепное здание в классическом стиле. Архитектор до сих пор не установлен, однако мастерство его не вызывает сомнений. Дом с бельведером, окруженный с четырех сторон колоннами, стоит на высоком холме в месте впадения реки

Грязны в Оредеж и виден далеко от шоссе. Он и сегодня производит впечатление на каждого, кто проезжает по шоссе Петербург — Луга.

Первым владельцем дома был Николай Ефремов, секретарь канцлера Российской империи графа Безбородко. Этот незаметный чиновник в 1797 году по ходатайству графа получил от Павла I село Рождествено и двести крестьянских душ в придачу. Покровительствуя Ефремову, всеисильный канцлер соблюдал и собственные интересы: богатое имение было обещано Ефремову в обмен на брак с любовницей графа, балериной Ольгой Каратыгиной. Вскоре у покинутой фаворитки родилась дочь, и Ефремов стал ее приемным отцом.

Ефремовы редко покидали свое имение. Но их артистическая натура, любовь к литературе и искусству преобразили усадебный быт. Именно тогда появился прекрасный парк с дубовыми и липовыми аллеями, в дальнем конце парка летом открывался театр под открытым небом, где пейзаж за Оредежем становился естественной декорацией, а склон холма — зрительным амфитеатром.

После смерти Николая Ефремова и его наследников усадьба несколько раз меняла своих хозяев, пока на исходе прошлого века ее не купил Иван Васильевич Рукавишников, дед Набокова по материнской линии. Он выстроил в селе новую церковь, открыл школу, больницу, создал крестьянский театр (слава о котором дошла до Петербурга), вдохнул новую жизнь в старое поместье. Сегодня

некогда просторный, украшенный богатой лепниной дом разделен на клетушки, перегороджен и поделен на два этажа великолепный двухсветный зал. Дом обветшал, колонны, когда-то обтянутые загрунтованным холстом, оголены, плахи полов стерлись; почти везде сорваны ставни, а плиты черного и белого мрамора, украшавшие танцевальный зал, пропали еще в начале тридцатых годов, когда в бывшем имении помещалась средняя школа. И ныне даже глубокие старики из местных не помнят о той жизни, что была здесь когда-то...

И может быть, затерялась бы в бурном послереволюционном лихолетье память о старой усадьбе, если бы не воскресил ее на страницах книг, написанных уже в изгнании, возмужавший юноша, который так и не стал новым владельцем имения.

Он не узнал, что из трех принадлежавших семье усадеб уцелела лишь одна, что мебель, картины, старинные гравюры, бронза, фарфор, целая библиотека книг были вывезены из Рождествена на двадцати подводках, что большая часть фамильных ценностей пропала, а единицы оказались рассеяны по разным музеям.

А в доме с колоннами открылся литературно-исторический музей, в котором до недавнего времени не было ни одного подлинного экспоната. Но однажды произошло чудо: пожилой человек из местных, внук повара бывших господ, принес в музей альбом семейных фотографий. (Нашел на чердаке деревенского дома, а



Выра.
Вид на усадьбу



В. В. Набоков
с матерью
Е. И. Рукавиш-
никовой
(Набоковой) в
имении Выра.
Ок. 1910 г.

выбросить — рука не поднялась.) И альбом остался в музее — единственная реликвия, дошедшая до наших дней и сохранившая память о доме с колоннами, о людях, его некогда населявших, и жизни, которой нет возврата.

Есть в этом альбоме сюжеты и виды, словно иллюстрирующие страницы романов «Дар», «Машенька», «Подвиг». Вот «александровских времен усадьба, белая симметричнокрылая, с колоннами по фасаду и антифронту... среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредеж»; и «просторный парк с его мхами и урнами... и русой тенью шуршащих аллей»; и сад, полный «мясистых георгин, и беседками, и скамьями, и террасами»; и «оранжереи, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата Петербургской губернии»; и «оранжевый крендель садовых тропинок»; и «теннисная площадка чуть ли не каренинских времен, свидетельница благопристойных перекидок».

Подвыцветшее пространство альбома населяют дамы в белых платьях, предста-

вительные мужчины в темных костюмах, юные гувернантки и пожилые бонны с детьми, гости и родственники молодой пары, объявившей в тот день 1897 года о своей помолвке — ради нее и приехал столичный фотограф в богатую усадьбу. Эта пара — тоже на снимках: Елена Ивановна Рукавишникова и Владимир Дмитриевич Набоков, родители будущего писателя.

«Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной» — писал Набоков в романе «Дар». И словно не в силах смолчать, договаривал: «Когда-нибудь, оторвавшись от писания, я посмотрю в окно и увижу русскую осень».

Набоков умер, не узнав о своей первой публикации на родине, так и оставшись в нашем сознании русским литературным изгнанником, который от родных берегов дальше Америки не уезжал и ближе Швейцарии не возвращался.

Он знал, что в одну реку нельзя войти дважды, даже если эта река такая медленная, как Оредеж...